

АПОЛЛОН
ГРИГОРЬЕВ

•

ВОСПОМИНАНИЯ

Аполлон Александрович Григорьев
Офелия. Одно из
воспоминаний Виталина
Серия «Трилогия о Виталине», книга 3

OCR Busya

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=314332

*Аполлон Григорьев «Воспоминания»: «Наука», ленинградское отделение;
Ленинград; 1980*

Аннотация

Продолжение рассказа без начала, без конца и в особенности без морали

В рассказе описывается реальное событие из студенческой жизни А. А. Григорьева и А.А. Фета: их влюбленность в «крестовую» сестру Г. Лизу.

Содержание

I	4
II. Рассказ Виталина	14
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Аполлон Григорьев
Офелия
Одно из воспоминаний
Виталина
Продолжение рассказа
без начала, без конца и в
особенности без морали

Посвящается В. С. Межевичу

*... Forty thousand brothers
Could not, with all their quantity of love,
Make up my sum...¹*

I

... Мы были одни с Виталиным. Склонской почему-то не было.

Мы страшно скучали – и долго предоставляли один другому полную свободу скучать, лежа, по обыкновению, на двух

диванах.

– Знаешь ли, однако, Виталин, – сказал я наконец, бросая сигару, – что скука...

– Удивительно скучна!.. – перервал он и натянуто улыбнулся своему остроумию...

– Нет! заразительна... – отвечал я ему.

– Старая истина, – сказал он, – что ж далее?

– Что далее? мало ли что далее? Но дело в том: отчего нет Склонской?

– Больна, или занята, верно.

– Ты думаешь? – спросил я, смотря на него так глубоко-мысленно, как только может смотреть человек, у которого в голове нет никакой мысли. Привычку к подобного рода взглядам вывез я из Москвы, где она чрезвычайно в ходу и служит заменой мышления, знания и т. д.

Виталин не отвечал мне на мой вопрос и, заложивши руку за голову, погрузился в прежнюю апатию. Находили на этого человека минуты, когда он становился невыносим даже для меня, потому что, когда человек упорно молчит с вами, вы невольно подумаете, что он или сердится на вас, или таит от вас что-нибудь неприятное, или считает вас, наконец, слишком ограниченным.

Не желая показать ему, что меня тревожит его хандра, я также погрузился в размышления о тленности всего земного... с четверть часа мы оба упорно молчали.

– А в самом деле, странно, что ее нет? – начал наконец

Виталин зевнувши. – Скучно, Г**.

– Да, скучно, – отвечал я флегматически покойно.

– И гадко даже, – продолжал Виталин почти с досадою.

– Ну!.. – заметил я.

– Да, гадко! – сказал опять Виталин, приподнявшись и проведши рукою по лбу, как бы желая выгнать упорно засевавшую мысль.

– Что же с этим делать? – спросил я равнодушно.

– Да ничего, разумеется... Но ты спрашивал о Склонской: она будет вечером.

– Согласись, что без нее нам было бы слишком часто вот такое состояние.

– Твоя правда. Мы с тобою две ровные стороны треугольника, которые соединяются третьей. Число три, впрочем, необходимо для всего.

Я вам говорил уже, что Виталин был склонен к мистицизму.

– Кстати, – продолжал он, – в состоянии ли ты любить Склонскую?

– Как сестру – да!

– Только?... но любить, любить...

– Нет, – а ты? Но что за глупый вопрос? Разумеется, тоже нет.

– Но отчего? – спросил Виталин с какой-то грустью. – Чего нам нужно еще? Она умна, она прекрасна, она – равна нам.

– Прибавь еще, что, несмотря на это равенство, ты не най-

десь женщины женственнее ее...

– И между тем... ее нельзя любить страстно, хотя вся она полна страсти.

– Полно, страсти ли? – заметил я. – Страсть и страстная натура – две вещи разные. Страсть – болезнь. Положим, что новейшая медицина вполне права, считая болезни односторонним развитием чего-нибудь, лежащего в нас самих, а не вне нас...

– Итак, ты думаешь, – прервал Виталин начатый мною период, – что она не способна быть больною?

– Вовсе нет, но что она не была еще больна.

– Гм!.. – произнес он. – Впрочем – это правда. Но все-таки остается вопрос, почему нельзя такой женщины любить страстно, почему нам всем, более или менее, нужны болезнь и страдание?

– Ну, уж это мы оставим в стороне покамест: интереснее знать, нужны ли ей самой болезнь и страдание? Если бы она была девочка лет семнадцати, с недосозданною душою² и потому с недосозданною наружностью или, пожалуй, с недосозданною наружностью и потому с недосозданною душою, я бы отвечал головою, что она еще будет больна, но...

– Ты думаешь, следовательно, что она вполне развита? – перервал снова Виталин.

² Эта тема развивается Г. в его стихотворении «Комета» (1843): Комета полетит неправильной чертой, Недосозданная, вся полная раздора...

– Знаешь ли? Je suis presque tenté de croire,³ что, если она не развита, то, по крайней мере, остановлена.

Виталин улыбнулся.

Чтобы пояснить вам мои слова, я должен поневоле говорить о моей теории женщины – этого единственного предмета, для которого у меня есть какая-нибудь теория⁴ и который один, может быть, стоит какой-нибудь теории.

Душа женщины, жизнь женщины – водяная влага, бездна без образов, до тех пор, пока зиждительный дух мужчины не повеет на нее. Душа женщины, натура женщины глубока и бездонна, как бездна, но и темна, как бездна, пока не осветит ее свет любви мужчины. Душа женщины, глаза женщины – зеркало, в котором отражается воля мужчины, в котором может успокоиться его беспокойный пламень в блаженстве самосозерцания... Темна моя теория, читатели, не правда ли? что же делать? она соответствует предмету... Скажу вам еще более... Женщина – те же мы сами, наше я, но отделившееся для того, чтобы наше я могло любить себя, могло смотреть в себя, могло видеть себя и могло страдать до часа слияния бытия и тени, жизни и смерти.

По крайней мере, из моей теории ясно одно только, что мы таковы, каковы мы теперь, можем любить только тех жен-

³ Я почти склонен думать (*франц.*).

⁴ ...единственного предмета, для которого у меня есть какая-нибудь теория... – Г. всю жизнь яростно боролся с «теоретиками» любых лагерей и направлений, считая всякую теорию прокрустовым ложем для живой жизни.

щин, в которых мы отражаемся.

Склонская была существо менее всего болезненное, – но между тем я был прав, сказавши Виталину, что в ее страстной натуре лежит предрасположение к болезни, т. е. к одностороннему развитию или, по моей теории, к отражению одностороннего развития, и был прав также, думая, что развитие это остановлено, что в этой душе отразился когда-то не образ, но призрак образа, что бедная обманутая душа, не успевши уловить неуловимого, не успевши полюбить и вместить в себя своей любви, и между тем, желая жить, желая любить, принуждена была отразить в себе самую себя, выйти из самой себя.

Но самой себя у нее не было, и она отразила в себе весь божий мир, со всем его бесконечным разнообразием.

И она любила все, не любя ничего.

И она жертвовала всему, не принося ничего в жертву. Ибо на свою красоту смотрела она, как на часть целого мироздания, и целое мироздание являлось ей громадным храмом, которого она была жрицею.

Ее любовь, ее жизнь не была современною любовью. Это была любовь будущего – светлая, спокойная влага, способная принимать все, отражать все.

Своею красотою она считала себя обязанною всем и каждому, она способна была бросить мгновение счастья уроду... но только мгновение. Она не понимала ревности: она была жрицею своей красоты, своей женственности.

Виталину, которому щедрее всех других расточала она свои дары, Виталину, которого любила эта женщина с слепою преданностью, ему первому рассказывала она о каждой своей новой любви.

И он слушал ее внимательно, играя ее белокурыми локонами, – ибо он отстрадал уже, ибо он также, хотя другим путем, дошел или, по крайней мере, доходил до того, чтобы любить все, понимать все.

Когда-то он так полно любил одно, так глубоко проник одно, что в глубине этого одного нашел основу всеобщего и разумом, по крайней мере, поклонился всеобщему, полюбил все...

Они оба равно любили все, они оба равно были равнодушны, – но Склонской легко досталось это равнодушие, – Виталину же слишком тяжело.

Когда он дошел до любви ко всему, он был так измучен и болен, что в душе его осталось место для одной только отрицательной любви, для одной ненависти к тому, что скрыло от нас общее, что убило тождество и похоронило его в грубом гробе предрассудков...

И долгий, и тернистый путь прошел бедный мученик до того несчастного места всего, где погребено слово создания...

И когда он обрел это слово, он должен был скрыть его в неприступных тайниках души, – ибо, простое и нагое, оно ослепило бы людские очи...

Моя теория о женщинах меня завлекла слишком далеко, и я в свою очередь погрузился в самого себя. Нельзя иначе: может быть, с разгадкой создания связана разгадка бытия женщины.

Виталин вывел меня из этого состояния.

– Я никогда не говорил тебе, – обратился он ко мне, – об одной женщине, об одном воспоминании моей молодости, об Офелии?

– Нет, – отвечал я довольно рассеянно, не в силах еще вырваться из самопогружения.

– Помнишь ли ты Инесу?...

– Инесу черноглазую?...⁵ – отвечал я словами Лепорелло, и мне невольно пришли на память эти немногие слова, которыми великий мастер очертил существо, может быть, самое болезненное из всех созданных когда-либо поэтами.

..... Голос
У ней был тихий, слабый...
А муж у ней был негодяй суровый...
.....Бедная Инеса!

– Вижу, что помнишь, – с улыбкою заметил Виталин, – мы разговорились о болезненных натурах, и по этому поводу мне пришло в голову рассказать тебе об одной женщине: хочешь?

⁵ *Инесу черноглазую?...* – Здесь и ниже очень неточно цитируются строки из драмы Пушкина «Каменный гость» (сцена 1).

– Пожалуй.

– Предваряю тебя только, что я должен буду начать с самого себя, с своей ранней молодости...

– И с первой любви? Не так ли, милый? – спросил я полунасмешливо.

– Да, и с первой любви, – отвечал Арсений серьезно и грустно. – Кстати, ты, вероятно, любил несколько раз?

– То есть, что ты назовешь любовью? Серьезно я не любил никогда.

– Все равно, хоть и не серьезно, но несколько раз?

– Да.

– Я также, но скажи, пожалуйста, когда ты начинал любить вторую и третью, был ли ты вполне уже равнодушен к первой?

– Не скажу... Впрочем, не знаю, – а ты?

– Я?... – отвечал Виталин. – Как тебе это объяснить? Чувство только засыпало в моей груди, усыпленное новым чувством и готовое пробудиться вновь при известных обстоятельствах. Зажгись теперь опять ореола около чела первой женщины, которую я любил, – и я опять буду любить ее. Да и нельзя иначе: все что прекрасно – неизменно.

– Эгоизм!

– Почему же?

– Потому, что ты не допускаешь ошибок в своем понятии о прекрасном.

Виталин улыбнулся с невольным самодовольствием. Он

всегда чрезвычайно любил, когда его уличали в эгоизме. Да и как не любить эгоизма? Эгоизм – начало жизни, ибо эгоизм есть любовь.

И нет иной любви, кроме эгоизма.

Ибо эгоизм знает сам себя и любит в себе только то, что достойно любви, что прекрасно.

Это назовут парадоксом, но я уже давно привык к моей репутации парадоксального человека, как прозвал меня один знакомый мне юный столоначальник, подающий блистательные надежды и исполненный совершенств столько же, сколько Лээрт в описаниях Осрика.⁶

– Рассказывай же! – сказал я Виталину, – но прежде вели сделать чаю.

Вследствие сего мы прежде напились чаю, т. е. удовлетворили материальным потребностям, и потом уже решились «чем-нибудь высоким заняться»,⁷ по выражению Хлестакова.

Передаю вам без всяких перемен рассказ Виталина; может быть, я должен был бы изменить в нем многое неинтересное или для многих чересчур интересное, но...

Предоставляю выкидывать самим читателям и пересказываю буквально.

⁶ См.: «Гамлет», акт V, сцена 2.

⁷ ...«чем-нибудь высоким заняться»... – Цитата из письма Хлестакова («Ревизор», д. 5, явл. VII).

II. Рассказ Виталина

Мне было восемнадцать лет. У меня было еще семейство, т. е. я хотел еще, чтоб оно у меня было.

Семейство! В этом слове столько радостей и страданий – страданий всегда и во всяком случае... Человек – свободный житель божьего мира – заперт в тесный кружок, прикован исключительно к одной частице этого беспредельного мира, и горе ему, если из своей тесной клетки видит он светлую даль необозримого небосклона!..

Так или иначе он вырвется всегда из своей клетки и увидит, что прежняя маленькая клетка, вместе с другими такими же заключена в другой, более просторной, а эта другая еще в третьей, и что едва ли не выбьется он из сил, разбивая преграды, пока над его головою засияет чистое безоблачное небо, усеянное светилами, его старшими братьями.

Немногие прорываются в соседство к светилам. Большая часть разводят гнезда и сами себе строят клетки, – и потом еще удивляются, как можно не жить в клетках.

А старшие братья текут спокойно, мерно, в вольной беспредельности и с божественной иронией смотрят на бедных тружеников...

Но я заговорил о том, что у меня было семейство для того только, чтобы показать тебе, что я был еще молод, очень молод...

Но, впрочем, был ли я молод когда-нибудь? Молодость – эпоха жизни, когда еще девственные инстинкты души жадно пьют наслаждение, не разбирая, из какого источника, а я?...

Ребенком двенадцати лет я жаждал уже жизни, не видал в мире ничего, кроме женщины, и ждал жизни, ждал женщины, мой боже... и в длинные бессонные ночи проходили перед моими очами легкие воздушные образы, полузакрытые, целомудренные, страстные... и голова горела, и сердце билось, как маятник, и уста сохли от жажды, и страстный трепет пробегал по всему существу, и руки стремились уловить воздушные призраки и ловили один воздух... И изнеможенный тщетными усилиями падал я на свое изголовье...

И я ждал тщетно любви и жизни – я был заперт в моей клетке.

И я в пятнадцать лет страдал уже пустотою и пресыщением – ибо силы мои были истощены жизнью призраков.

И поневоле мысль о *лишении*, как о долге человека, явилась тогда мне, и вся жизнь предстала мне длинной цепью лишений, ибо таково всегда следствие пресыщения – физического или нравственного. Я сделался мечтателем, но не таким, который ненавидит все, что несогласно с требованиями разума, и гордо враждует с предрассудками, а мечтателем, который принял за факт свое бессилие, принял за неизменно необходимое все несообразности с разумом и бросил якорь спасения в безбрежное море сна, пустоты, несуществующего.

Все, что окружало меня, все, что душило меня, я признавал за высшее себя, за ложе Прокруста, по мерке которого я должен был вытягивать или обрезать себя. Я страдал, но смиренное страдание казалось мне единственным уделом человека на земле; мир представлял мне чистилищем, душа человека – узником, запертым в душевой темнице, жизнь – бременем.

Бывали вечера, длинные, зимние вечера, когда пуста и печальна была моя комната, когда глазам становился несносен свет нагоравшей свечи, когда душе было тяжело ее одиночество... Тогда бедная душа просилась на волю, тогда снова окружали меня воздушные призраки с своими волшебными, неизведанными чарами. О! эти призраки просились жить и сами звали к жизни... мне становилось душно... я роптал...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.